

АНТОЛОГИЯ

Евгений ЕВТУШЕНКО

«Нет ничего, кроме небес...»

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК РУБРИКИ ПОСВЯЩЕН ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ (1866, МОСКВА — 1949, РИМ)

Выстрел в Сараеве, чьим тысячекратно повторенным эхом стала Первая мировая война, был выстрелом не столько в эрцгерцога Фердинанда, сколько в романтические иллюзии человечества. Запах иприта, пороха, гноя и крови выветрил те древние поверья, которые навевали тревожно шепчущиеся шелка незнакомок.

За два года до выстрела в Сараеве Александр Блок написал Вяч. Иванову, пытавшемуся взирать на события молодого жестокого века с высоты своей «башни»: «И я, дичившийся доселе Очей пронзительных твоих, Взглянул... И наши души спели в те дни один и тот же стих». Блок ошибся. Стихи оказались слишком разными. В лучших вещах Блок оторнул свойственную поэзии Иванова бесплотность, чурающуюся дышащей жизни. Обычно Иванов-поэт не опускался до низменной реальности: «Я — Полдня вещего крылатая Печаль. Я грезой нисхожу к виденьям сонным Пана: И отлетевшего ему чего-то жаль, И безотзывное — в Элизии тумана». А вот в очаровательной поэме «Младенчество», посвященной своему детству, Иванов сменил тогу интеллектуального патриция на чесучовый белый сюртучок русского провинциала, стал тем, кем он, по сути, был, и сразу его стих, обретя унаследованную от Пушкина домашность, сделался теплым, человеческим. Иванов в позднем «Младенчестве» и Блок в «Возмездии» действительно сблизилась — в Пушкине. Такой уж Пушкин по природе своей — сближатель всех нас... Пушкинское проступило и в последних, римских стихах Иванова.

Когда-то одна умница англичанка сказала мне: «Весь мир — это провинция». Быть провинциалом и одновременно гражданином Вселенной — вполне совместимо: вспомните хотя бы К. Э. Циолковского. А вот землянину стать гражданином Вселенной без корней земных — никак нельзя. Висячих садов Семирамиды в поэзии не бывает. Поэт — это то дерево, чьи корни глубоко в родной земле, и только это может



Константин Сомов. Портрет поэта Вячеслава Иванова. 1906 г.

ной пусть небольшую, но собственную. Это у него получилось, но и его малый вариант Вселенной оказался таким же неупорядоченным и сомнительно счастливым.

Иванов дал точное определение русскому уму: «Он здраво мыслит о

Иванов справедливо защищал искусство от писаревской гражданственной утилитарности. Следуя за Вл. Соловьевым, он вместе с Блоком и Белым связывал надежду на очеловечение человечества с «матернизацией» мужского характера, с божественным образом вечной женственности — тем единственным, что, может быть, сумеет укротить звериный инстинкт завоевательства. Пастернак противопоставил воинскому героизму, которое подчас служит и недобрым целям, совсем иную отвагу, всегда прекрасную: «Быть женщиной — великий шаг, Сводить с ума — героизм». Составитель этой антологии как прилежный ученик сразу всех поэтов на свете добавил: «Я хотел бы любить всех на свете женщин и хотел бы я женщиной быть хоть однажды. Мать-природа, мужчина тобой преуменьшен, — почему материнства мужчине не дашь ты? Если б торкнулось где-то под сердцем дитя беспричинно, то, наверно, жесток так бы не был мужчина».

Через много лет после Иванова, пожалуй, самый русский француз Ромен Гари с горечью констатировал: «Если христианство... не воплотилось в реальную действительность... то главным образом потому, что оно распространялось и насаждалось руками и кулаками мужчин, шпагами, крестовыми походами, инквизицией... не сумело при-

знать и осуществить свою главную женскую сущность».

Но, видимо, не случайно взаимоотношения с женщинами у всех перечисленных рыцарей «вечной женственности» были более чем запутанными. Каторжное труженичество Иванова-философа по письменному столу перепуталось со штормовой взвихренностью алькова, ставшего взбаламученным морем страстей. Вот что Ходасевич писал о русском декадансе: «...в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково». В личной жизни богемная верхушка интеллигенции занималась не столько поисками Ариадниной нити, сколько вдохновенным строительством лабиринтов.

Дионисийство из теории становилось духовной и сексуальной практикой предпомпейского периода России, когда революционный Везувий только вычихнул первые хлопья пепла. Именно осенью 1905 года входят в моду «среды» у Вячеслава Иванова и Лидии Зиновьевой-Аннибал в «башне» на Таврической, 25, где Мейерхольд ставил спектакли, а Бердяев проповедовал свои идеи, где бывал Блок и долгое время жил Кузмин, а как-то появился даже Горький, чтобы «нюхнуть чутков декаданса».

Не будучи огромной литературной планетой, Иванов обладал даром притяжения планет гораздо больших, чем он сам. На «башне» начались «дионисийские игры», включавшие бисексуальное экспериментирование, перерастание «союза двух» в «союз троих», а «союза троих» — в «союз всех». Когда умерла Зиновьева-Аннибал, Иванов женился на ее дочери от первого брака. От него многие отвернулись. Но они любили друг друга, и только Бог им судья. При всех метаниях и лихорадочных, порой почти бредовых экспериментах и над собой, и над

другими, Иванов не потерял ни лица, ни души. Он пытался сохранить их и при советской власти, хотя, как дал понять Блок в пушкинской речи, это становилось все мучительней, все невозможней.

Уехав по командировке Наркомпроса в Италию в 1924 году, Иванов решает там остаться, неожиданно приняв католичество. В Италии написаны его последние, мудрые и горькие стихи.

Вот каким увидел его когда-то Андрей Белый: «Если бы я не знал, кто стоял передо мной, я бы сказал: это старый чудак-профессор из захолустного немецкого городка; но миг — и выражение тонкой пронизательности изменило лицо; он принялся расспрашивать меня о моих планах: казалось, передо мной судебный следователь; миг еще — в подозрительной на первый взгляд пронизательности начинала сквозить чисто отеческая ласка: он весь — внимание; он слушал чужую душу».

Таким он и сохранился в памяти будущих поколений, которые — я надеюсь — поймут его, пожалеют, простят и полюбят за труженическую душу философа-поэта, всю жизнь пытавшегося одионисить нашу мало для этого приспособленную жизнь.

Башня

О, вечной женственности образ!
Его заманчивая доброть
над грубой силою мужской!
И я был им так сладко ранен
и окрещен, как христианин,
России женскою рукой.

О, Белый, Блок и Вяч. Иванов,
вы, как в духовных врачеваньях,
в литературных вечеваньях
искали женский божий лик,
и материнскому в мужчине
вы не напрасно нас учили.
Бог — все, в ком он, и тем велик.

И с опозданием, что нестрашно,
в тунеповерженную башню,
что вавилонской попрочней,
Ромен Гари в тоске по братству,
в конце концов, доблел, добрался
и, может быть, влюбился в ней.

И я бы не был вечным Женской,
когда б ступенька за ступенькой
на эту башню я не лез -
весь в предвкушенье, но со страхом,
что выше, в бесступенный странном,
нет ничего, кроме небес...

ТЕКСТЫ

Вяч. Иванов. Стихотворения

Русский ум

Своеначальный, жадный ум, —
Как пламень, русский ум опасен:
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он — и так угрюм.

Подобный стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлеченной
Пугливой воле кажет путь.

Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

1890

Из «Римского дневника 1944 года»

●
Великое бессмертья хочет,
А малое себе не прочит
Ни долгой памяти в роду,
Ни слав на Божием суду, —

Иное вымолит спасенье

От беспощадного конца:
Случайной ласки воскресенье,
Улыбки милого лица.

2 января

●
Густой, пахучий внешний клей
Московских смольных тополей
Я обоняю в снах разлуки
И слышу ласковые звуки
Давно умолкших окрест слов,
Старинный звон колоколов.
Но на родное пепелище
Любить и плакать не приду:
Могила я милых не найду
На перепаханном кладбище.

16 января

●
Не медлит солнце в небесах,
И дно колодез светла мелко,
Дрожит на зыблемых весах,
Не хочет накреститься стрелка,

Мгновенный возвещая суд.
И кто отчаялся, кто чаает;
И с голода крещеный люд
В долготерпении дичает.

19 августа

Не будучи огромной литературной планетой, Иванов обладал даром притяжения планет гораздо больших, чем он сам

позволить ему обнять ветвями воздух всего человечества. Некто заметил об одном петербургском поэте: «Ему не хватало опыта провинциализма». От этого бескорния и появляется литературно-великосветская заносчивость, которая как раз и есть провинциализм в худшем варианте.

Иванов, хотя и был по рождению москвичом, жил в семье провинциально-патриархальной, в домишке, окруженном поленовскими двориками. И самой любимой музыкой мальчишки стал шелест жадно переворачиваемых страниц — то античных авторов, то Достоевского, то Ницше. Мысль о краткости жизни, о жестокой небесконецности и себя, и других утнетала юного книгочея и даже довела его до попытки самоубийства. Он выжил, вознамерясь создать внутри гигантской Вселен-

земле, в мистической купаясь мгле». Поэт соединил в себе оба качества русского ума — и сам предостаточно купался в мистической мгле, и других в ней изрядно купывал, но, отеревшись от нее холщовым полотенцем с красными вышитыми петухами, двойники которых уже поплясывали на помещичьих усадьбах, о многом мыслить вполне здраво: «Слишком дорогую цену давали мы судьбе за срытие мрачных развалин старого строя, — и вот расплачиваемся за свободу ущербом независимости, за провозглашение общественной правды — невозможностью осуществить свободу, за самоутверждение в отрыве от целого — разложением единства, за ложное просвещение — одичанием, за безверие — бессилием».